

85 ЛЕТ ЛЕГЕНДЕ

# КРАСНАЯ СТРЕЛА

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН • ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ • ВЛАДИМИР СОРОКИН •  
ЗАХАР ПРИЛЕПИН • АЛЛА ДЕМИДОВА • МАРИНА СТЕПНОВА • САТИ СПИВАКОВА  
• АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ • АЛЕКСАНДР ГЕНИС • ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

Сноб

Сборник

**Красная стрела. 85 лет легенде**

«Издательство АСТ»

2016

УДК 82-31  
ББК 84(0)

## **Сборник**

Красная стрела. 85 лет легенде / Сборник — «Издательство АСТ», 2016 — (Сноб)

ISBN 978-5-17-097947-9

К 175-летию железных дорог России журнал "СНОБ" при поддержке издательства "АСТ" выступил с инициативой о создании книги, целиком состоящей из эссе, рассказов и путевых дневников, в которых тема путешествия являлась бы главным сюжетобразующим мотивом. Жизнь как вечная дорога, как авантюрное приключение, как поездка, конечная остановка которой остается неизвестной вплоть до самого финала. Само название книги, взятое напрокат у знаменитого экспресса, уже более 80 лет курсирующего между Москвой и Петербургом, мгновенно вызывает ассоциацию с железнодорожной тематикой. Впрочем, авторы сборника были вольны выбирать, каким видом транспорта им воспользоваться при своих передвижениях по свету. Ведь география книги необъятна: тут и Япония, и Израиль, и Чечня, и Венеция, и Прага, и Китай, а в конце – для всех читателей специальный бонус в виде фотоочерка Антона Ланге о его уникальном путешествии по железным дорогам России.

УДК 82-31  
ББК 84(0)

ISBN 978-5-17-097947-9

© Сборник, 2016  
© Издательство АСТ, 2016

## Содержание

В разных поездах	5
Сверчок на печи	7
Служба попутчика	13
За проезд!	17
Зимняя сказка	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Красная стрела. 85 лет легенде**

## **Составители Сергей Николаевич, Елена Шубина**

### **В разных поездах**



Доподлинно известно, что всё человечество делится на тех, кто смотрит на проходящие поезда, и на тех, кто в последний момент умудряется вскочить на подножку и укатить в неизвестном направлении. Вид транспорта при этом не так уж и важен, хотя лично я предпочитаю поезд. Он и приходит вовремя, и уходит по расписанию, и выглядит романтичнее. К тому же за ним богатая литературная традиция. Тут самое главное – успеть, не пропустить, не опоздать. Но при этом надо всегда помнить, что прощальный взгляд на оставленный дом или чьи-то заплаканные глаза может обойтись слишком дорого, поэтому не следует повторять фатальную ошибку жены Лота. Не оглядывайтесь назад. Никогда не оглядывайтесь! Последнее, наверное, самое трудное для впечатлительных, нервных и привязчивых натур.

Об этом думали мы, собирая рассказы, эссе и истории для издания сборника “Красная стрела. 85 лет легенде”, пытаясь объединить самых разных авторов и героев, переплетения сюжетов вокруг одной магистральной темы. Это – дорога. Собираясь в нее, мы молодеем, сбрасывая лишние годы и килограммы. Всегда завидовал людям, которые умеют путешествовать налегке. Никаких тяжелых баулов, чемоданов, кофров... Легкая сумка через плечо.

Потертый портфель-дипломат с полагающимся джентльменским набором предметов и приспособлений. Никогда не надо тащить с собой в дорогу тяжелый груз былых печалей и комплексов. Всё это легко можно “забыть” дома вместе с таблетками снотворного. В дороге не стоит слишком долго спать. Иначе рискуешь пропустить всё самое интересное. Домашние тапочки тоже не советую брать с собой. Вдруг захочется с кем-нибудь познакомиться или

пофлиртовать. В пути это случается буквально на каждом километре. Женщина в тапочках вызывает трогательную жалость, мужчина – презрение. Никогда не спешите разуваться – это всегда знак капитуляции. Белый флаг, безмолвно выброшенный из окна, означает, что вы ни на что уже не претендуете. Но вы же претендуете? Не так ли?

Я знаю это так же наверняка, как и то, что еще ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховый полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном. Что может быть прекраснее дороги, проведенной с “Доктором Живаго”? Если только другая дорога с Агатой Кристи! Впрочем, лично я выбираю общество Аллы Сергеевны Демидовой и еще 26 авторов, согласившихся написать специально для сборника “Красная Стрела. 85 лет легенде” о своих путешествиях и взаимоотношениях с дорогой.

Книга, которую вы держите в руках, – продолжение литературной серии журнала “Сноб” и “Редакции Елены Шубиной”. Однако главная особенность нынешней “Красной стрелы” в том, что это уже в гораздо большей степени *fiction*, чем *non-fiction*. Перед авторами была поставлена задача не просто поведать нам о своих странствиях по свету, но сделать путешествие главным сюжетобразующим мотивом.

Жизнь как дорога, как долгожданный отрыв, как авантюрное приключение, цель и конечная остановка которого остаются неизвестными до самого финала. Да и само название, взятое напрокат у нашего поезда-юбилера, знаменитого экспресса, мгновенно вызывает ассоциацию с железнодорожной атрибутикой. Правда, атрибутикой уже слегка винтажной, вытесненной из продвинутого сознания стерильным комфортом и сверхскоростью неумолимого “Сапсана”.

И все-таки “Красная стрела”! Почему? Потому что стрела, потому что летит, потому что в ночь. Всем, кто был счастлив и хотя бы однажды любил в “Красной стреле”, посвящается ...

Конечно, наши авторы были вольны выбирать, каким видом транспорта им воспользоваться. Однако именно мотив поезда, железной дороги, вокзала как одного из постоянных мест действия нашей жизни, проходит через большинство текстов.

И неслучайно, что новое издание “Красной стрелы” выходит в год 85-летнего юбилея легендарного поезда и при самой деятельной поддержке ОАО “РЖД”, одной из главных системообразующих компаний России, которую мы искренне хотим поздравить с этой датой и заверить в нашей ей верности и любви.

Наша благодарность французскому модному дому *Louis Vuitton*, чья продукция не только делает жизнь путешественников всего мира более комфортной, но и позволяет им оставаться по-настоящему элегантными в самых непростых дорожных обстоятельствах.

Моя всегдашняя признательность и восхищение редактору Елене Шубиной, а также литературному редактору журнала “Сноб” Сергею Алещенку, моему главному помощнику во всех книжных проектах и начинаниях.

Итак, просьба ко всем провожающим освободить вагоны. Наш поезд отправляется...

Сергей Николаевич  
Апрель 2016

## Сверчок на печи Людмила Петрушевская

Вначале этой рождественской сказочки речь пойдет о поезде “Красная стрела” из Ленинграда в Москву, в котором, в вагоне СВ, я провела бурную ночь с пьяным полковником 29 декабря тысяча девятьсот лохматого года.

Этот поезд, кстати, по определению был не для нас, запрещенных советских писателей, но – вот парадокс – именно на нем я должна была торжественно отправиться домой после премьеры своего спектакля “Чемодан чепухи” в каком-то питерском молодежном театрике, который только что возник, и чуть ли это не первый был у них спектакль.

Премьера – это все знают – праздник. Цветы, банкет за кулисами. Тут еще их и московский автор почтил. И они оплатили мне обратный билет в СВ, в спальном вагоне. Что было верхом гостеприимства!

Но я на банкете тосковала. Дома денег не было вообще. За эту премьеру и спектакль когда-нибудь пришлют на сберкнижку три копейки (агентство по охране авторских прав – ВААП – платило авторам какие-то нищие проценты спустя месяцы, а в дальнейшем, когда меня стали ставить за границей, я обнаружила, что за зарубежные спектакли они вообще берут себе 83 % в валюте!).

И какова была вечная молитва всех советских командированных? Вот она: “Дайте деньгами!” В дальнейшем это горячее и невысказанное желание касалось зарубежных командировок, когда во время фестивалей и книжных ярмарок мимо наших деятелей культуры текли реки марок, фунтов и лир. Всегда мимо. Нам давали гостиницу с завтраком, давали иногда одну на всех машину по городу, и все! Приходилось делать утром за завтраком тайные бутербродики на весь день, да... Садиться спиной ко всем и держать сумку на коленях разверстой. Случалось и под-голаживать. Ведь наши нищие суточные предназначались, чтобы купить домой сыр, колбасу и хоть какую-нибудь одежду из секонд-хенда. На милой родине не было ничего. Один раз в Финляндии местные русские повезли всю нашу театральную делегацию на помойку. Туда добрые граждане складывали, оказывается, ненужные вещи. Я не попала на этот шикарный рейс, но все вернулись с добычей: один из нас, редактор журнала под кодовым названием “Театральная смерть”, надыбал себе компьютер неизвестной пригодности, он озабоченно волок на себе этот тяжеленный экран, другой нес почти новую куртку немножко из лужи, моя подруга по профессии добыла для своего мужа кожаные перчатки времен русско-финской войны, но не рассмотрела, оно было пуговицами на дамскую сторону. Мне как обделенной жалостливый драматург Ш. подарил слегка погнутую красную плетеную корзиночку, она долго у нас дома служила потом для всякой ребредени.

Однако заграничных поездок еще не было в моей жизни. Имелся у меня в те поры стишок “но до этого надо добраться, и дожить, и живыми остаться”, пока что добираться не удавалось, исключали из всех делегаций. Один раз в мою родную Польшу вместо меня полетело пустое место, поляки купили билет, а наши не разрешили.

Правда, в состоянии нелегальности тоже были какие-то свои плюсы. Система поддержки. Работало Бюро пропаганды советского киноискусства, и точно такое же бюро было в Союзе писателей.

От Бюро пропаганды советской литературы я ездила за семь рублей одиннадцать копеек то на электричке в колхозные клубы, то в зимние каникулы в лагерь выступать перед детьми, то в школу для олигофренов, то в суицидальный центр читать сказки засыпающим пациентам, то по библиотекам, то по детским домам (это уже бесплатно).



Бюро пропаганды советского киноискусства посылало меня несколько раз в хлебные поездки, один раз я попала в Новосибирск при температуре минус пятьдесят один градус. Я придумала назвать свою программу “Лучшие мультфильмы мира”, так как бюро выделило мне для привлечения аудитории четыре черно-белых мультика Уолта Диснея тридцатых годов, по три минуты каждый. И это пользовалось грандиозным успехом у зрителей, несмотря на то что в городе творился апокалипсис – что-то взорвалось на ТЭЦ. В залах, где я выступала, было плюс семь. Мало того, молоко в той части страны отпускали по рецептам, а огуречный лосьон и настойку боярышника в аптеках начинали продавать только с трех дня (одеколон в парфюмериях тоже). Я везла с собой мои лю-бимейшие мультфильмы: Эдуарда Назарова “Жил-был пес” и “Про муравьишку”, и, кроме того, взяла для показа свежеразре-шенный фильм “Сказка сказок” Юры Норштейна. Его не понял никто, даже в Академгородке. И сказку “Пуськи бятые” встретили гробовым молчанием. Хорошо, что в зале было несколько малых детей, они смеялись. (“Она читала заумь”, – решили ученые.)

Итак, меня на вокзал везла на машине делегация во главе с кинорежиссером Ильей Авербахом (это он помог театру через свои кинематографические связи достать билет в спальный вагон, называемый СВ).

Я считала (и другие тоже), что меня ждут отдельное купе, чистейшее белье, вежливые проводники. От чая я планировала отказаться, тогда мне не хватило бы на метро. Покой будет, тишина. Гарантированный сон до утра в Москве. Не то что пьяная плацкарта и духовитый терем-теремок на четверых – купе.

В морозной тьме мы торжественно и с цветами дошли по перрону до вагона, вежливый проводник взял мой билет – и по ковровой дорожке я с целой процессией проследовала за Илюшей к своему купе.

Илюша оттянул дверь, и мы застыли. Слева на застланной белоснежным бельем полке сидел по-турецки мужик в голубых кальсонах.

Справа, на моем ложе, тоже застланном белоснежным бельем, громоздились в шинелях красномордые немолодые офицеры, один из них расположился прямо на подушке. Они показались мне похожими на ямщиков прошлого века с какой-нибудь жанровой картины общества передвижников.

Было накурено и нахаркано. На столике стояли две захватанные бутылки водки, одна уже пустая, в другой оставалось на доньшке. И полная бутылка фанты, редкий товар в то время. Ее продавали только в валютной “Березке”.

Произошла немая сцена, причем с обеих сторон.

Куда там гоголевскому “Ревизору”!

Наконец, после длительной паузы эти двое в толстых шинелях, украдкой, но заинтересованно поглядывая на меня, подняли обширные зады с моей подушки и с моей белой простынки, коряво поцеловали начальство (сидящее в позе йога, как теперь бы сказали, но в голубых кальсонах) и вышли, потеснив нас животами в коридор.

Вообще-то это был, конечно, гоголевский сюжет. Ревизор.

Дядя приезжал с инспекцией из Москвы и теперь, после ужина в ресторане, был доставлен в СВ.

Почему я подумала, что это ревизор, приехавший из Москвы, – если бы он ехал с ревизией в Москву, он бы не пил. Да и кто из Питера мог ревизовать московских!

Мои печальные провожатые поставили чемодан на койку и повели меня к бригадиру поезда ругаться. Но другого места не нашлось. Даже у проводников.

Меня вернули в купе, попрощались и вышли. Поезд тронулся.

А мой чемодан оказался не застегнут. Афиша лежала развернутой.

С соседней полки донеслось увесистое:

– Артистка?



Я закрыла чемодан и поставила его в ящик под свою койку вместе с афишей.  
Видимо, я что-то пробормотала.

– Че, думаешь, я в твоём чемодане шевырялся? – прозвучал вопрос.

Я перешла в коридор на откидную скамеечку, закрыв купе. Он сразу же отодвинул дверь, высунул морду в коридор и заорал:

– Артиска, хочешь, я тебе почитаю поэму Лермонтова “Сашка”?

Я перебралась на другое сиденье, вдаль по коридору.

Мой ревизор вопил стихи в дверь, держа в руке бутылку, он временами присасывался к ней, как младенец, надеясь на последние капли.

Проводница, разнеся чай, больше из своего купе не показывалась. Да я и не рисковала к ней ходить, дядя вполне мог добраться до моего чемодана.

Хорошо, что “Красная стрела” грохотала, тренькало ведро у кипятильника. Ревизору приходилось напрягаться в этом дорожном шуме. Он выкрикивал отдельные, наиболее важные слова.

Часа через два дядя отрубился, затих.

Я осторожно вошла в купе. Вояка лежал животом вверх как убитый, уронив руку до пола, в кривой позе.

Я умостила голову в сторону двери, накрыв простыней лишенную свежести подушку (эти в шинелях ее оприходовали своими задами). Заснуть не удавалось. Дядя храпел ужасно. Мало того, на столике бутылка фанты (стеклянная) беспрерывно чокалась с пустыми бутылками из-под водки: “Тинк-тинк! Тики-тинк!”

Что было делать, я поднялась, взяла эту проклятую фанту и хотела ее отставить от пустой бутылки. Но потом у меня возник коварный замысел: я спрятала ее под полку ревизора, глубоко-глубоко. Другую бутылку я поставила под столик. И опять попыталась заснуть.

Вскоре наступила тишина. Храп прервался стоном. Дядя с громким криканьем, кашлем и чавканьем привстал и во тьме потянулся, я догадалась, за фантой.

Он шарил, хватал пустую бутылку водки, присасывался к ней, отставлял ее обратно, тяжело дыша пересохшим ртом и отхаркиваясь, но ничего не мог понять!

То есть он, видимо, запаниковал. Где те бутылки? Дядя с шумом сел, и по звуку было слышно, что он обшаривает рукой столик. Потом запыхтел, полез под стол, видимо, поднял оттуда пустую бутылку... Почмокал впустую. Затем очень тихо лег. Он явно размышлял над тем, что могло произойти. Что было-то, явно ведь что-то случилось, если фанта пропала, а та бутылка стоит под столом... Может быть, он заподозрил, что что-то натворил, допустим, разбил бутылку фанты? И тут долго убирали? А он ничего не помнит... И что будет завтра?

Я про себя хихикала. Муки узника, который с пересохшим ртом ищет воду, чередовались у него с паузами, с попытками вспомнить, что же было. Он даже дышать стал тише. Затаился.

Я понимала, что он не может выйти в коридор, поскольку сообразил, что единственный его наряд – это нижнее белье. В таком виде выйти даже в уборную позор. Надевать мундир и брюки, наверное, ему было не под силу.

Наконец он захрапел.

И мне удалось заснуть.

В шесть утра в вагоне заиграло радио. В половину седьмого поезд прибывал в Москву.

Я достала полотенце, собралась почистить зубы. Опять оставлять чемодан беспризорным? Взглянула на соседнюю полку. Полковник все еще лежал без признаков жизни в своих голубых кальсонах поверх белья и, видимо, испытывал какие-то физиологические проблемы. Ниже пуза у него слегка вспучилось.

Я быстренько вымелась из купе, умылась и встала у окна.

В полной форме, с полотенцем через локоть возник этот красномордый красавчик. Поздоровался. Я не ответила. Он проследовал в туалет.

Вернувшись, он покопался в своем купе (фанты не нашел!) и вышел в коридор. Встал рядом со мной и заговорил:

– Я извиняюсь, если что было.

Я ответила:

– Пошел в жопу.

Он невозмутимо продолжал:

– Меня встречает машина. Я могу вас отвезти куда надо.

Я повторила свою формулировку.

Он сказал:

– Послушайте.

Я его перебила той же фразой. Я вообще-то не ругаюсь. Но тут мне было надо сказать ему в краткой форме все, что я о нем думаю.

Он был серьезно напуган, опять скрылся в купе. Вышел в шинели, с огромным задом, как у кучера. В фуражке.

Поезд прибыл на перрон. Я подождала, пока дядя выйдет. У него был бледный и какой-то битый вид, как у свиной головы на рынке.

Правильно, грешников по утрам черти мают адовыми муками.

И поделом.

И только на обратном пути, уже в метро, я поняла, что это он пытался за мной ухаживать. “Артиски” – они для чего? С концертами их приглашают зачем? И те двое, покидая купе, довольно двусмысленно на меня пялились. Догадались о возможностях.

Пятнадцать копеек оставалось у меня в кармане.

С чем я и приехала, плюс с коробкой конфет, подаренной на банкете. Она пойдет к столу послезавтра. Больше дома нет ничего. Сегодня 29 декабря.

Дома еще спали. Кирюша в школу не пошел и правильно сделал. Боря тоже спит праведным сном, ему на дежурство в гараж только завтра. Федечка ангелом лежит, сомкнув реснички, в своей кровати. Я бухнулась на тахту и забылась в тревожном сне.

Пробужденная настойчивым Федей уже в полдень (он сажился мне на голову), я начала действовать: перерыла все сумки, вытрясла все карманы. Ничего. У меня муж, двое детей и моя мама, которая, конечно, придет к нам на Новый год, чем я буду их кормить?

Оставались три варианта: попросить в долг у обеспеченных друзей, занять у соседок по подъезду или снять со сберкнижки последние пятьдесят копеек (хлеб тогда стоил, белый батон, двадцать пять копеек, серый батон – девятнадцать копеек, молоко – двадцать три копейки бутылка).

Я долго собиралась, стирала, убирала, сварила последние три картошки и к вечеру решилась: позвонила проверенному другу Юре. Надо сказать, что до той поры я не занимала ни у кого, считала, что лучше поголодать, чем просить.

Но тут ситуация вопиющая, на носу Новый год, маме и детям полагаются подарки! И мама ведь обязательно купит что-нибудь со своей копеечной пенсии! И Кирюшу нельзя оставлять без кулька конфет и книжки. И мужу Боре тоже полагалось купить хотя бы носки – ах-ах. И маленькому Феде нужно устроить елку! А под елкой полагаются подарочки! Даже елки у нас не было на этот раз. Кошмар!

Проверенный друг Юра растерялся, когда я ему позвонила и попросила займы пятьдесят рублей.

Сумма огромная, конечно.

Зарплата моего мужа Бори, сторожа при гараже, составляла пятьдесят семь рублей. Так работали многие интеллигенты, которые не желали служить в государственных учреждениях (или состояли под контролем КГБ). Они устраивались ночными сторожами, дежурными в котельных, ночными дежурными в общежитиях. Только чтобы не работать на эту власть.

Друг Юра как-то жалко ответил, что он деньгами в семье не распоряжается, надо спросить у жены. Хорошо, ответила ему я.

Затем я позвонила своей богатой приятельнице, сценаристке. Тут уж я откровенно сказала, что в доме нет хлеба. Сценаристка тоже ответила вполне откровенно, что только что приехала домой издалека, поставила машину в гараж, а гараж далеко, так что устала и больше из дома не выйдет сегодня.

Ну нет у человека сил. Понятно. Бывает.

Кроме того, возьмешь деньги в кассе – и придется еще сидеть и ждать, когда за ними приедут.

Ходить по соседям было стыдно: они сами у меня постоянно занимали по рублю, даже по пятьдесят копеек. Нищий был у нас подъезд, рабочая кость, заводские. Перед праздниками денег ни у кого нет. Зарплаты-то в начале января.

Дальше оставалось последнее – идти в сберкассу и ликвидировать сберкнижку. Там пятьдесят копеек, тот минимум, при котором можно не закрывать счет, меньше нельзя. А как раз на данную книжку мне иногда приходили гонорары, и именно этот счет знали в бухгалтериях. Закрывать сберкнижку, и всему конец. Я же все время работала: то переводила, то удавалось сказку пристроить. Копейки платили, но если в печатных органах будут публиковать и в Бюро пропаганды дадут выступление хоть раз в месяц, то жить можно.

У меня были сторонники и друзья в журналах: Инна Петровна Борисова, моя литературная крестная, редактор в “Новом мире”, затем Боря Ряховский, заведомо прозы журнала “Сельская молодежь”, еще Инна Андреевна Сергеева, тоже заведомо в “Дружбе народов”, кроме того, Андрюша Мальгин в газете “Неделя”. Рассказы, правда, напечатать почти не удавалось – над Борей Ряховским дружно смеялась вся редколлегия журнала, когда он произносил мою фамилию. Их главный редактор меня на дух не выносил, так же как все главные редакторы всех журналов и издательств. Дурная слава очернительницы советской действительности... Да и советские критики, не буду называть их фамилии, держали глухую оборону, стараясь не допустить такого вредного автора к печатному станку (некоторые служат этому делу до сих пор, хотя безрезультатно).

Я сидела у телефона, глупо улыбаясь после своих бесплодных разговоров. Приходилось все-таки ползти в сберкассу. Надо было покормить детей. И я пошла за своими последними копейками в морозной тьме. Там, в кривом закутке, в духоте, стояла обычная очередь, терпеливая очередь бедняков. Сюжет для еще одних вангоговских “Едоков картофеля”. А за стеклом виднелись замордованные бабы, их склоненные головы, их руки, безостановочно строчащие, перебирающие в ящиках.

Подошла наконец и моя решающая минута.

Я протянула вниз свою сберкнижку. Что будем делать? Куда теперь придут будущие деньги, когда меня все-таки станут печатать? Счет закрыть – это конец. Придется сообщать повсюду, что моей сберкнижки больше не существует. А что эти пятьдесят копеек, ну батон, ну бутылка молока. Перебиться на сегодня.

Хорошо, ладно, завтра Юрина жена даст займы, еще кто-нибудь даст.

За стеклом приняли мое последнее достояние, сберкнижку, достали карточку из ящика, взглянули, что-то начирикали на бумажке и задали мне идиотский вопрос:

– Сколько брать будете?

Я даже издала некоторый смешок. Дескать, все пятьдесят копеек возьмете или тридцать оставите?

– А что, можно не все? – спросила я во внезапной надежде. Счет не ликвидировать – это важно!

– Да, – ответили мне.

Тут я, посчитавши в уме, сказала:

– Ну тогда сорок четыре копейки можно взять?  
(Куплю серый батон за девятнадцать и молоко за двадцать три.)

На меня посмотрели ошарашенно:

– Сорок четыре копейки?

– Ну, если можно, – поторопилась я.

Тетка вдруг опомнилась и с некоторой усмешкой произнесла:

– А вы посмотрите, сколько у вас!

И протянула мне мою сберкнижку.

Я посмотрела. Я чуть не упала.

Там стояла новая запись: триста двадцать рублей пятьдесят копеек.

Цифры начали скакать у меня в голове. Я временно потеряла сообразительность. Я лихо-  
радно соображала, сколько денег понадобится. Не получалось.

– Ну что?

Я бухнула:

– Ну что, сто семьдесят рублей я возьму.

Очередь за мной явственно переступила с ноги на ногу. Всколыхнулась. Сто семьдесят  
– это были большие деньги.

Я полетела в морозной тьме в булочную, отстояла там очередь, купила два батона, потом  
помчалась в молочный, отстояла там еще очередь, купила бутылку молока и бутылку кефира,  
взяла бы и сметану, но не было с собой баночки, даже сумки я не прихватила из дому. Не  
надеялась. Все пришлось тащить в руках. Два свежих хрустящих белых батона и две бутылки.

По пути домой я не выдержала и откусила у одного батона хрустящую попку.

Ворвалась в квартиру, на кухню, показала Боре деньги и сберкнижку. Мы начали дико  
хохотать. Федя притопал, мы с ним даже поплясали. Кирюша выглянул, ничего не понимая,  
с чего такое веселье. Обрадовался. Короче, наш папа был послан за елкой. Назавтра ведь он  
пойдет в гараж на сутки, а тридцать первого елок может уже и не быть.

Утром я оставила Федю на Кирюшу и хорошо постояла в очередях в бакалее, в магазине  
“Диета” и сразу в двух очередях в овощном. И наведальсь в книжный и в нашу галантерею. И на

Новый год пришла моя мама с кексом “Столичный” и с подарочками всем, с открытками  
в стихах, и у нас было тушеное мясо с черносливом в скороварке, роскошный оливье, жареная  
картошка и мой фирменный салат “Вырви глаз” (из лука, майонеза и трески горячего копче-  
ния). И даже имелась бутылка шампанского, она сверкала на столе своей серебряной головой!

Но самое главное, что у нас была елка, не слишком пушистая и даже костлявая, послед-  
ние отходы, измеряемые на елочном базаре в погонных метрах как деловая древесина. Она  
красовалась на рояле, вся увитая гирляндами и серебряным дождиком, со звездой на вершине,  
со стеклянными бусами, с ватным Дедом Морозом и с картонными игрушками из моего дет-  
ства, которые еще сохранились, все эти рыбки, звездочки и хлопушки.

Кстати, Юрка мне позвонил на следующий день: “Все! Приезжай за деньгами”.

А я ответила:

– Юра, ты будешь смеяться, но я получила большой гонорар. Наверное, за пьесу.

И мы долго хохотали.

В Новый год Кирюша играл нам на рояле, а Федя, как всегда, забрался к нему на колени  
и тоже барабанил по клавишам, и мы пели “Маленькой елочке холодно зимой”.

Чистый Диккенс, рождественская сказка “Сверчок на печи”...

Конец года, счастливый праздник бедняков.

## Служба попутчика Евгений Водолазкин

Есть в Германии междугородная служба попутчика.

Она находит человека, готового взять тебя в свою машину в нужном тебе направлении. Ты платишь ей за это небольшие деньги. Тому, кто тебя везет, ты тоже платишь небольшие деньги – и то не всегда. По совокупности это получается вдвое дешевле поезда. Очень удобная служба.

Однажды летом я воспользовался ею, добираясь из Берлина в Мюнхен. Созвонившись с водителем по имени Курт, я приехал на условленную улицу. Машина уже ждала. По ее виду (старенький “фольксваген”) было понятно, что платить придется. Не платят в роскошных машинах вроде “мерседеса”. Их экстравер-тированные владельцы берут попутчиков не ради денег: таких водителей интересует общение. А в “фольксвагене” – платят.

Курта я опознал сразу. Полуприсев на капот, он курил. “Курт курит”, – придумал я начало скороговорки. Курт лысеет. Коротко стрижется, как все лысые. И это в тридцать с небольшим. С другой стороны машины стояла девушка, по виду студентка. – Хайди. Тоже пассажирка, – сказал Курт.

Пассажирка Хайди не отреагировала. Возможно, слов Курта она просто не слышала. Обмахивалась газетой – отсутствующе и как-то даже непреклонно. Так обмахиваются после ссоры.

– Вы русский? – спросил меня Курт, и я кивнул. Он улыбнулся: – Я ведь в хорошем смысле спрашиваю.

Предполагался, оказывается, и плохой. Но Курт ничего не имел против русских. Он сказал мне:

– Давайте так: полдороги машину веду я, полдороги вы – и я не беру с вас денег за поездку. Получается по три часа.

Я отказался. Я пробормотал, что так мы можем уехать слишком далеко. Курт развел руками и пригласил нас занять места в машине. Увидев, что Хайди села на заднее сиденье, я сел на переднее. Садиться рядом с таким независимым человеком мне было просто неловко. Как только мы тронулись, я прислонился к боковому стеклу. Его прохлада была приятна. Я закрыл глаза. Ночь накануне я провел с берлинскими друзьями и за время дороги надеялся отоспаться.

– Чем занимаетесь? – спросил Курт.

Я открыл один глаз: это относилось ко мне.

– Русской литературой. Преподаю. – Глаз мой закрылся. – Вы не будете против, если я вздремну?

– А вы не будете против, если я вздремну? – отозвался Курт. – Простите, но когда на переднем сиденье кто-то спит, я тоже начинаю засыпать.

Он сразу поехал как-то так, что машину начало трясти. Голова моя дробно стучала о стекло. Чтобы прекратить вредительство Курта, я решил пересест на заднее сиденье. Там, как я надеялся, подразумевалось мое право на сон. Курт не возражал. Когда машина остановилась, я перебрался к Хайди. Сидя у противоположных дверей, некоторое время мы ехали молча. Я пытался снова задремать, а Хайди читала газету. Курт хотя и был слегка обижен, сдаваться не собирався.

– После нашей с вами беседы, – сказал он мне, – обратиться к вам девушка просто постесняется. Она могла бы рассказать что-то интересное, но ведь вы, проф, хотите спать. Можно, я буду называть вас “проф”?

От перемены мест результат не изменился – Курт продолжал говорить. Ему, конечно, не повезло: я хотел спать, а Хайди была замкнутой. Если бы он не брал с нас денег, думалось мне, мы с Хайди, вероятно, были бы обязаны его развлекать. Поддерживать разговор, оплачивая тем самым свой проезд. Но ведь мы ехали на коммерческой основе. Это он хотел бесплатных бесед. Он был настоящим халевщиком, этот Курт.

От его болтовни мой сон мало-помалу прошел. Приоткрыв глаза, я тайком наблюдал за Хайди. Она была сублильной и смуглой – есть такой немецкий тип. Вслед за песней определяю его для себя как тип персидской княжны. Которую (я мысленно взвесил Хайди) не так уж сложно выбросить из лодки. Из поезда, автомобиля, откуда угодно: беззащитна, только бросай. Она сидела прямо, едва касаясь спинки сиденья. Короткие рукава, подсвеченный солнцем пух на руках. Так выглядит лето.

Сквозь ресницы, в которых все еще плавала немецкая девушка, я увидел насмешливый взгляд Курта. Взгляд сверлил меня из зеркала заднего вида. Курт подсмотрел, как я люблю ее беззащитностью.

– Теперь она не расскажет ровным счетом ничего. Только из-за вас, проф.

– Если это будет интересный рассказ, я готов бодрствовать, – пошел я на уступки. – Например, если Хайди расскажет нам свою жизнь. Расскажите, Хайди?

– Вам это не кажется агрессией? – спросила меня Хайди. – Почему я должна рассказывать свою жизнь?

– Вы не должны, – ответил я. – Скорее, у вас есть возможность. Знаете, существует такой русский жанр – разговоры в купе. В купе рассказывают жизнь такой, как она была. Или такой, как мечталась, – неважно – никто ведь не проверяет. Главное здесь в том, что, выйдя из купе, собеседники не встречаются больше никогда.

– Вы хотите, чтобы я перед вами, фигурально говоря, разделась?

– Не он хочет – русская литература, – вступился за меня Курт. – В русской литературе все только и делают, что друг другу исповедуются. Почитайте Достоевского.

– А я читала, – сказала Хайди. – И у меня сложилось странное впечатление. Мне показалось, что все русские – как бы это помягче сказать? – истерики.

– Ну, не все. – Курт, не оборачиваясь, показал на меня. – Наш-то спокоен.

Хайди попыталась сложить газету, но у нее не получилось. Утратив форму, газета приобрела объем. Хайди снова развернула газету и ребром ладони ударила ее по линии сгиба. С коротким всхлипом газета согнулась пополам. Еще раз согнулась и шлепнулась на сиденье между нами. Соппротивление подавлено. Победительнице машут экологичные ветряки по обе стороны дороги. Что никогда не интересовало русскую литературу – это экология.

Глядя на меня из своего зеркала, Курт сказал:

– Вы подали хорошую идею, проф, но в наших условиях она неосуществима. Немецкие мальчики и девочки – другие: исповедоваться они никогда не будут. В нашей среде это не принято, у нас – дистанция.

– Так я и предлагаю ей другую среду. – Я указал на себя большим пальцем. – Со мной можно.

– С ним можно, – подтвердил Курт.

Я продолжал наблюдать за Хайди. Она вела себя как человек, который готов выступить с заявлением. Вдыхала ртом. Покусывала губы. Созрев, произнесла:

– Ладно, я ведь – не та, кто портит игру. Расскажу вам кое-что о себе.

Она только что окончила университет, работает ветеринаром. Любит животных, иначе бы не работала. Животные – как маленькие дети. Не могут объяснить, где у них болит, обо всем приходится догадываться самой. Профессия не так чтобы захватывающая, но дает возможность зарабатывать на жизнь. Хотя сейчас все сложнее: на запад Германии, где она живет, все чаще переезжают восточные немцы. Они готовы работать за меньшие деньги и сбивают

цены. Хайди надеется, что среди нас нет восточных немцев (я успокоительно киваю) и что своим рассказом она никого не огорчила.

– Я – восточный немец и огорчен, – сказал Курт. – Но огорчен другим. В вашем рассказе нет доверительности. Это – не русская литература. Это – рассказ для отдела кадров. Простите.

– Тогда расскажите о себе, – предложила Хайди. – Демонстрируя доверительность.

– Отлично. Рассказываю.

Курт – программист, хобби – альпинизм. До воссоединения Германии жил в восточном Берлине. Горы в ГДР никакие, и Курт мечтал о Кавказе. Для СССР, однако, требовалась виза, получить которую было сложно. В отличие от СССР, с восточных немцев визу не требовала Румыния, что и было использовано хитроумным Куртом. Раздобыв ключ проводника, он садится в поезд Берлин – Бухарест. Этот поезд (такова география) два часа идет по территории Украины, причем делает там техническую остановку. Во время остановки Курт открывает дверь своим ключом, преспокойно выходит на Украину и направляется на Кавказ. Пробыв три недели в горах, он задумывается о возвращении и выбирает легальный путь: поезд Москва – Берлин. Советским пограничникам путешественник показывает внутренний паспорт и – билет общества немецко-советской дружбы, в которое однажды вступил по наитию. Пограничники ошеломленно рассматривают эти бумажки, пытаясь в голубых глазах немца прочесть, насколько он вменяем. Создавая атмосферу непринужденности, Курт повторяет слово “дружба” (другие ему не вспоминаются). Идут долгие переговоры по рации. Детали их Курту непонятны, ясно лишь, что в рядах пограничников царит растерянность. Ситуация нетипична, и в отношении восточно-германских друзей они боятся поступить неправильно. Оглядываясь по сторонам, пограничники заталкивают Курта обратно в купе и уходят. Таким же образом Курт ездил и в последующие годы. Всего – восемь раз, до падения стены. Потом он уже ездил в Альпы.

Слушая Курта, я думал о том, что восточные немцы теперь больше похожи на нас, чем на западных немцев. Хайди – сдержанная, а Курт – вот он какой: наш человек. Как же мало времени им для этого понадобилось...

В окрестностях Лейпцига мы остановились у кафе и съели по пицце. Курт выпил безалкогольного пива, а мы с Хайди – по паре стопок немецкой водки “Горбачев”. “Горбачев” был ее заказом. Из-за жары пить водку мне не хотелось, но я сделал это ради девушки. Она русифицировалась просто на глазах.

Когда мы сели в машину, Хайди стала рассказывать о своих молодых людях. Упреков со стороны Курта больше не последовало: истории для отдела кадров явно не предназначались. Хайди последовательно описала друзей, их интересы, а также места, где она с ними занималась любовью. Это были парки, ночные пляжи и примерочные дорогих магазинов. В одном магазине их обнаружили по движению ног: пара не учла, что дверь там не доходила до пола. Да (Хайди щелкнула пальцами), она никогда не занималась любовью в машине, хотя что, казалось бы, могло быть естественней...

Курт спросил:

– Проф, а почему вы отказались вести машину – у вас нет с собой прав? Их ведь здесь никто не спрашивает.

– Я не умею водить машину.

Курт присвистнул.

– И ничего в своей жизни не водили? Даже “жигули”?

Я задумался.

– Бронетранспортер. На военных сборах я водил бронетранспортер.

– Ну, после этого вполне можно вести машину. Соблюдая, конечно, правила – разметка дороги там, красный свет...

– Для бронетранспортера не существует красного света, – строго ответил я.



До бывшей немецко-немецкой границы мы ехали по шоссе гитлеровских времен – огромным бетонным блокам. На стыках блоков колеса издавали короткий хлопающий звук. Он задавал ритм нашего движения до границы. После границы начался шестиполосный автобан, а с ним – пробка. Мы открыли окна. Попросив разрешения положить мне голову на колени, Хайди сняла кроссовки и сунула ноги в окно. Мы ехали на малом ходу, а Хайди вращала оранжевыми, в полоску, ступнями. Из параллельных рядов нам приветственно махали. О раскрепощающем влиянии русской литературы там даже не догадывались. Голова

Хайди ерзала по моим бедрам. Широко раскрытые глаза упирались в мой подбородок.

– Знаете, проф, – сказала Хайди, – считается, что самое сексуальное в мужчине – это ум. Ум и опыт. Мне кажется, девушка физически ощущает, как они входят в нее со зрелым мужчиной...

В зеркале мне подмигнул Курт. На такой градус доверительности не рассчитывал никто. Поколебавшись, я легонько нажал Хайди на нос: в сложившейся ситуации действие было единственно правильным.

– Я думаю, это заблуждение юности – насчет вхождения ума и опыта. Входит, Хайди, только одно, никогда не догадается – что.

– Догадаюсь.

Машина стала снова набирать скорость. Хайди села и закрыла окно. По обе стороны дороги потянулись ярко-желтые поля рапса, и лица сидящих в машине стали желтыми. За ними последовали заросли баварского хмеля, но цвет наших лиц уже не изменился. Наверное, мы просто устали.

Под Нюрнбергом зашли в придорожный ресторан выпить кофе.

– Так что же мне теперь делать? – спросила Хайди.

– В каком смысле? – не понял я.

– Вообще.

Курт выдохнул сквозь неплотно сомкнутые губы. Длинное “ф”, начинающееся с “п”. В ответственный момент так делают все немцы.

– Лечите ваших звериков, – сказал он. – Остальное прояснится по ходу дела.

Хайди посмотрела на меня.

– А что в таких случаях советует русская литература?

– Советовать бессмысленно. Да это и не входит в задачи литературы.

– Что же тогда входит в ее задачи?

– Не знаю. Может быть, создавать среду.

До Мюнхена мы ехали молча. Прощаясь, Хайди предложила оставить мне номер ее телефона.

– Вы же знаете законы жанра, – напомнил я. – Их нельзя нарушать.

Мы расплатились с нашим водителем и обнялись – все втроем. Одной щекой я чувствовал колючего Курта, другой – вспотевшую Хайди.

– Вы женаты? – спросила Хайди. – Вы не хотите мне звонить, потому что вам было бы неловко перед женой?

– Скорее – перед русской литературой, – ответил Курт, пряча деньги.

Я пожал плечами. Вероятно, мне было бы неловко перед обеими.

## За проезд! Татьяна Толстая

*И она взлетела в воздух, чтобы полетать кругом, как обычно, и увидела летящего ифрита, который ее приветствовал, и спросила его: “Откуда ты летишь?”*

*– “Оттуда”, – ответил ифрит.*

*“Тысяча и одна ночь”*

Одичать: покинуть и Питер, и Москву, – кому что выпало на долю, – купить еще крепкую избу в брошенной деревне близ Бологого, около Окуловки; копейки, сущие копейки, но печь разваливается, а печники умерли; кровля просела, а плотники запили; колодец пересох, а землекопы наточили лопаты и ушли в бандиты; а может, обойдется, а может, как-нибудь.

Войти в сыроватую, сильно пахнущую прежним хозяином избу: остатки заскорузлого зипуна на гвозде в сенцах, тряпки, одинокий резиновый сапог сорок большого размера, треснувший поперек. С внезапно обострившейся хозяйственной жадностью, с кулацкой сметкой, всплывшей из древних глубин сознания, осмотреть и ощупать брошенное добро: может, пригодится еще, а вот если нарезать на лоскуты, порубить на какие-нибудь ремни. Если затыкать что-нибудь там. Не пригодится.

Привезти из города – Москвы ли, Питера ли – веселящие вещи: свечи, водку, консервы в неперменном томате, как далекий, полустертый привет от прежней жизни, пыльного юга, Джанкоя, Херсона; пуховую подушку. Электричества тут нет, оборвали – значит, ни телевизора, ничего такого, но ведь от них и бежим.

Осень, небо обметано крупными созвездиями, они лежат прямо на печной трубе, на дереве, раскинувшем ветви над дровяным сарайчиком. Кажется, это липа, но зачем нам, городским, это знать, не ложки же из нее будем резать? Не порубим же на поленья? Кто-то пролетел, заслоняя крылом звезды, кто-то хрустнул веткой в лесу, страшно, пойдем в дом.

Ждать зимы, чтобы уснули медведи; впрочем, волки не спят, наоборот, оскалясь, ждут городских дураков, деревенские-то съедены. Вилы, дреколье, топор. А еще можно разбрасывать горящую паклю с саней... Но какие сани? Кто их потащит? Лошади стоят в Зоологическом музее, на втором этаже, смотрят карими стеклянными глазами, и моль ест их гривы.

Деревни в снегах: Дремуха, Бабошино, Кафтинский Городок. Есть ли там люди? Где-то там, верстах в пяти, должен быть сосед: всю жизнь торговал какой-то рухлядью, ходил по краю, бил и был бит, устал; тоже купил избу о трех горницах, мечтая пить чай под липой, а пчелы чтоб жужжали, а если люди заявятся, то у него есть ружье с патронами. Бар-Григино, Отдыхалово, Дорищи, Корытница, Наволок, Малые Гусины.

Приходит зима, а мы обмазали печку глиной и уже не очень боимся угара, а мы прятали зипун и сапог, и держим дрова в сенях, и нашли озеро, и пробили прорубь, и жарим картошку на дровяной плите, и едим ее прямо со сковородки. Мы не сии-маем валенки, мы протоптали тропинки туда и сюда, вечером мы читаем при свечке, примотав отвалившуюся дужку очков синей изолентой, газеты бесконечной давности, журнал “Садовод” 1948 года. Яблоня “Китайка золотая ранняя”. Вишня “Надежда Крупская”. Актинидия “Клара Цеткин”. Мы покрикиваем: “Береги тепло!”, моемся редко, поливаем на руки из ковшика. Мы различаем шорохи: вот это мышь, это сова, это просто ветка хрустнула от мороза, а это далекий трубный клик пронсящегося без остановок поезда. Одичали, вот славно. Еще немного, ну?

Иногда мы выходим из ночных снегов к железной дороге посмотреть, как несется на бешеной скорости смертельная лента огня: скоростной поезд либо туда, либо сюда – а потом снова туда. А потом снова сюда. Мы его ненавидим. Он набит людьми, как чурчхела оре-

хами. Этим людям что-то надо, они куда-то стремятся, они чего-то хотят. Они перемещаются в пространстве. Это отвратительно. Ничего не надо хотеть. Из своей тьмы мы бросаем в поезд камнем и иногда попадаем. Потом нюхаем шпалы и уходим, на четвереньках, бесшумно. Мы хорошо ориентируемся в темноте. Мы знаем, как пахнет север и как – восток.

\* \* \*

Вздригнешь и очнешься от вечерних сновидений наяву, когда в окно “Сапсана”, почти прямо тебе в морду, влетает немаленький булыжник; закаленное стекло звездчато трескается, но держится; хорошая работа, знали, чего ждать, к чему готовиться. Жизнь напомнила, что между точкой А и точкой Б – снега, звери, древние звезды, печной дым, восемь сторон вечности, часы без стрелок. Если бы я была там, в сугробах, там, где красное недолгое солнце падает в елки и все исчезает, всякая красота тонет в ночи и тьме, – то у меня, наверно, тоже чесались бы руки швырнуть камень в быстрого сияющего червя. Может быть, в злобе, может быть, в раздражении... но нет, ведь и злоба, и раздражение – городские слова, городские понятия, рождающиеся там, где толкотня, очереди, тщеславие, нетерпение, соревнование, цель и конец пути. Нет, тут другое чувство, одновременно мутное и тонкое: а вот тебе! бдышь! а не ездят! Может быть, это охотничий инстинкт, зовущий броситься на мелькнувшее, на сверкнувшее, на убегающее. Собака, щелкнув зубами, ловит муху; зачем? – а нечего тут. Мальчик давит жука сандалией: тебе не жалко его? – ничуть.

По эту сторону треснувшей, но уцелевшей преграды, отделяющей день от ночи, – лоскут цивилизации, квартал города на колесах – которого? – Москвы, переливающейся в Питер, или Питера, перетекающего в Москву? Это богатый квартал, серебристый и сытый, тут есть вешалка для шуб, тут легко отдадут полтора ста рублей за бутерброд, шестьдесят целковых за стакан чая. Крестьянин не едет на “Сапсане”, житель маленьких городков – Раменок или Колтушей – выбирает тусклые плакаты лязгающих, долго ползущих составов, привозящие их в дымную срань раннеутренней платформы Петербург-Навалочная или, наоборот, Москва-Сортировочная.

Едут тихие чиновники, удивительные люди, владеющие искусством струиться и обтекать, но никогда ничего не говорить прямо: если скажет чиновник что-нибудь прямо, то игре конец, чиновнику кирдык, кощеева игла сломана и переходит к другому владельцу. Слова его зыбки и неопределенны, он не любит ни вопросов, ни фактов, ни жесткой логики, ни точности; ответы его лежат в особом, вероятностном пространстве: спроси, например, чиновника: когда? – ответом его будет: “своевременно или несколько позже”.

Едут бизнесмены; крупного бизнеса тут нет, он улетел на самолете, а мелкий здесь, заказал коньяку и говорит в мобильник громко, чтобы все знали, какой он деловой, и строгий, и умный, и весь на подъеме: “я еще помозгую, а ты дожимай вопрос”. Впрочем, кто чуть покрупней, порой сидит в бизнес-классе, и тогда его так распирает, что в радиусе трех метров находиться невозможно: кто еще не знает, как он отдохнул в своем доме в Испании, как нырял на Филиппинах или катался на лыжах в Австрии, – узнает принудительно.

В шестой вагон – там всегда билетная касса – приходит из бизнес-класса возмущенная дама в белых кружевных сапогах пожаловаться, что и в бизнесе, и в экономе крутят одно и то же кино. Вот дура-то!

Вот дуры едут в первом классе,  
Не думая о смертном часе.  
Когда настанет смертный час,  
На что вам будет первый класс?

*(Георгий Иванов)*

Кто попроще – спортсмен или офисный сиделец – тот весело торчит в буфете все четыре часа, а потом записывает в “Книгу отзывов”: “Спасибо! Комфортно провели расстояние!”

Еду я. Если сидеть тихой мышью и слушать чужие разговоры, можно узнать много удивительного. Вот сын-садист, лет сорока. В Бологом он начинает названивать матери: “Я скоро буду. Поставь чайник. Я сказал: поставь чайник! Я буду усталым. Да, проехали Бологое. Ну и что? При чем тут остынет?.. Ничего не остынет! Я, кажется, ясно сказал: пойди и поставь чайник!!! Ты доведешь меня! Ты желаешь мне зла!” На том конце разговора, оправдываясь, трепыхается несчастная, затурканная мать, очевидно, уже немолодая, покорная, но все еще слабо подергивающаяся.

Проходит по коридору растерянный кудрявый жулик, карточный шулер, должно быть, новичок в этих краях, попавший в скоростной поезд по ошибке: “А вот в картишки. Кто компанию составит? А вот в картишки. В картишки”. Менеджеры среднего звена, оторвавшись от ноутбуков, где они увлеченно рубили виртуальным мечом головы виртуальным чудовищам уже на шестнадцатом уровне, изумленно поднимают глаза: откуда ты, чудо лесное? Таких домотканых мозгов уже не носят, это тебе не южное направление.

Тут же, что-то припомнив, веселый лысый дядька рассказывает своей смешливой спутнице старый советский анекдот: “А вот едет автобус. Вваливается пьянчуга. Такой уже хорошо принявший, но еще с координацией... Садится, расстилает газетку, достает нарезанное сало, лучок, огурчик соленый – все смотрят на него с изумлением. Из-за пазухи вынимает чекушку, стакашок, откупоривает это дело, наливает... Тут кондукторша, которая, конечно, потеряла дар речи от такой наглости, все-таки приходит в себя и кричит: «Что это такое? Это... это что это такое?! Гражданин! А за проезд?!» И мужичок так поднимает стакан, знаете, приветственно, улыбается ей, и – «Ну! За проезд!»”

Нижний Перелесок. Кривое Колено. Мужилово. Малое Бабые. Большое Бабые.

Едут он и она, негромкими голосами терзая друг друга.

– Я тебя спрашиваю: кто тебе звонил? Кто он?

– Скотина. Ты залез в мой мобильник.

– Да, я залез в твой мобильник. Ты мне скажешь, кто он, иначе все кончено.

– Оставь меня в покое. С кем хочу, с тем и говорю.

– Мы должны развестись.

– Да ради бога. Брось меня.

– Я тебя последний раз спрашиваю: кто тебе звонил?

– Никто.

– Врешь.

– **Вру-**

– Я тебя убью.

– Давай убивай.

– Ты скажешь мне, кто тебе звонил?

– Оставь меня в покое. Я свободный человек.

– Ты не свободный человек, а моя жена.

– Ну так разведись.

– Не разведусь, пока ты не ответишь: кто он?

– Я тебе ничего не должна.

– Я тебя убью. Ты этого хочешь?

– Я хочу тишины и покоя.

– Тогда скажи, кто тебе звонил, и мы немедленно разведемся, и будет тебе покой.

– Я ничего тебе говорить не обязана.

– Ты дряннь. Ты гадина.

– Брось меня и найди другую.

Что-то не так в их разговоре, напряженном, медленном, мучительном. Что-то не то с интонацией. Я оборачиваюсь, чтобы украдкой посмотреть на них: ну конечно. Молодые и прекрасные, они полулежат на неудобных сапсановских креслах обнявшись, переплетя руки, переплетя ноги, глаза в глаза. Боже, какая любовь! Запертые в волшебной капсуле, куда никому нет хода, они упиваются звуками голосов друг друга. Благословенны будьте!

Уезжа. Льзи. Влички. Добрая Вода.

Лица недавно разбуженных,  
Наспех поевшие рты —  
Жизнь на платформах завьюженных  
Вынырнет из темноты.

Без ямщиков, колокольчиков,  
Бьющих о землю копыт,  
С грузом обманутых дольщиков  
Русская тройка летит.

Судьбы твои закольцованы  
Словно иные круги,  
К дальнему взгляды прикованы,  
Ближнему вечно враги.

То заметет, то распутица,  
Эй, отзовись, кто живой!  
Следом история пустится  
В скорбный обход путевой.

Долго славянки прощание,  
Но с нетерпением ты  
Вдаль унесешь обещание  
Вынырнуть из темноты.

*(Александра Толстая)*

Барская Вишерка, Пустая Вишерка. Нижние Гоголицы, Вер Гоголицы. Вялое Веретье.

Есть философия ночи, и Федор Иванович Тютчев – адепт ее. Ночь он понимает как истинную основу бытия, настоящую реальность. День – это лишь “блистательный златотканый покров”, накинутый на страшную бездну, на хаос, на первозданное, ужасное, древнее, беспредельное, бесформенное и безымянное, но родное:

О! страшных песен сих не пой  
Про древний хаос, про родимый!  
Как жадно мир души ночной  
Внимает повести любимой!  
Из смертной рвется он груди,  
Он с беспредельным жаждет слиться!..  
О! бурь заснувших не буди —  
Под ними хаос шевелится!..

Тютчевский ветер воет “понятым сердцу языком”, и если он выть не перестанет, то хаос зашевелится, в человеке проснется зверь и захочет уйти жить в занесенные снегом леса, пробираться на четырех ногах через бурелом, бродить вокруг брошенного человеческого жилья, разорять что-нибудь и перегрызть что-нибудь, мало ли. Пойдемте, Федор Иваныч, одичаем вместе, мне тоже хочется слиться с беспредельным, глухо жаловаться, завывать от непонятных чувств, бросать камнем в озаренные окна, за которыми угадываются дневные звери: вот их шубы, вот их разговоры, вот их рычание, ату их. Я знаю, что вы чувствовали, о чем думали, Федор Иваныч, когда в шатком вагоне, в купе, озаренном огарком свечи, слушали мучительный перестук колес, всматривались в темные окна, за которыми шевелилась бездонная русская мгла, которая, казалось, никогда не кончится, никогда не кончится, никогда не кончится – да она и не кончилась.

Родиться в Сортировочной, умереть на Навалочной, меж ними бездна, звезд полна, стозевна и лаяй; меж ними нечто живое и темное; ведь хаос – это тоже жизнь, это то, откуда она родится, то, куда она проваливается.

Глядки. Топорок. Стекляницы. Ужин. Яблонька. Березка. Рассвет. Тупики. Язвище. Кто такие, отзовись!

Воронья Гора, ау! Великий Куст! Отзовись, кто живой! Не дает ответа.

Жизнь не дает ответа, Федор Иваныч, разве что иногда врежет здоровенной такой каменной из тьмы в лоб вопрошающему; одинаковый булыжник прилетит и в эконом-класс, и в бизнес-класс, без предпочтений. Или – хотите? – давайте будем цивилизованными и возвышенными, давайте считать, что это как метеорит. Небесный гость, этсетера. Давайте думать, что это не хаос откликается на наш тоскующий зов, а его противоположность, космос: пространство организованное. Такое, где золотые небесные тела ходят по своим золотым орбитам, и слышна музыка сфер, словно невидимая рука перебирает струны арфы в деревне Язвище. Давайте?

Русский наш мир, Федор Иваныч, выглядит так: большая тьма, в ней две светящиеся точки: Москва и Петербург. Сбоку где-то, конечно, Европа, но она почти уже не считается. Это в ваше время она была Европой, а сейчас черт-те что, и спасения нет. И дальше во все стороны тоже тьма, и она растет и пухнет. А русская жизнь – это путешествие из Петербурга в Москву, или из Москвы в Петербург, смотря с какой стороны смотреть. Два худо-бедно озаренных блюдечка, два пятнышка света, две платформы, где можно вынырнуть из темноты – отдышаться до следующего погружения.

“Садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать? – Хоть бы в Арзерум поспеть нынче, – отвечал Ашик. – Закрой же глаза. – Он закрыл. – Теперь открой. Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума”. (М. Лермонтов. “Ашик-Кериб”)

\* \* \*

На рубеже девяностых, когда старый золотканый покров был сдернут, а новый еще не соткался, плавание через Море Мрака было делом самых отчаянных. Ночные поезда – сама идея безумного ночного путешествия через тьму – вошли в наши саги и эдды. Герой покидает освещенную платформу, на всякий случай прощаясь с семьей и друзьями. Герой везет с собой мешок золота – обычно в форме пачки долларов, ведь кредитных карточек еще нет в природе, да и золото, как и положено, имеет вполне криминальное происхождение. Герой опоясывается крепким поясом, в который это золото зашито, герой облачается в неприметные лохмотья, герой прячет сокровища в двойной подошве сапог и в этих сапогах спит, как беженец, как бездом-

ный. Ветер задувает последний слабый фонарь на Навалочной, на последнем бастионе на краю бездны. Все. Теперь каждый сам за себя.

Проводник – кто он? Защитник или предатель? После полуночи, когда откроется последний петух и разверзнутся хляби, на перегоне между Любанью и Малой Вишерой откроет ли он мою дверь треугольным ключом, впустит ли убийцу? Как это будет? Дунет ли он на меня отравленным порошком через трубочку? Напустит ли усыпляющий газ? Отпилит ли мне ноги вместе с драгоценными сапогами? Вышвырнет ли мое бесчувственное тело в пустынные волчьи поля, когда вагоны накрелятся на единственном на всю дорогу и необъяснимом повороте? О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно?.. Сюиска. Глутно. Острые Клетки. И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами – вот отчего нам ночь страшна!

Герой достает из портфеля волшебный прибор: блокиратор. Это особый замок из твердой красной пластмассы – коробочка размером с сигаретную пачку, с пружиной. Его набрасывают одновременно на ручку двери и на металлическую щеколду, тогда они становятся единым целым, и щеколду невозможно повернуть из коридора треугольным ключом. Вообще-то блокиратор должен быть в каждом купе, но если его украли предыдущие герои, то вы беспомощны и уязвимы, и остается только молиться; так что наш герой возит блокиратор с собой.

Ночь идет долго, ведь в темноте нет времени. Герою нужно выйти в туалет или покурить, как быть? Открыть дверь в коридор, где, может быть, уже ждут его с ножами, топорами, дубинами и пистолетами проводник и впущенные проводником злодеи? Или злодеи – это его соседи по купе, заранее залегшие под дезинфицированные простыни и, затаясь, ждущие своего часа? Герой колеблется... но природа требует своего, и он снимает блокиратор и, страшась, шагает в тусклый коридор.

Теперь пугаются соседи по купе: кто был этот, вышедший? Посланник сил зла? Подсадная утка? Он подслушивал и выводил? Зачем он ушел вместе с блокиратором? Чтобы привести сюда убийц, верно?

От подушек тяжело веет дихлофосом: морили вшей. Душно и холодно одновременно. Шаги в коридоре. Тащат что-то громоздкое. Вагон содрогается и тормозит. Это конец, да?..

Нет. Пронесло. Это Бологое. Это белеют стены и блещут минареты Бологого.

\* \* \*

От Окуловки в сторону километров десять; да кто их считал, эти километры? Идешь себе и идешь по колдобинам, по выбоинам, некошенная трава выше головы, одинокая сосна на пригорке, разливаемые озера иван-чая. Полдень печет голову, остановишься – замучают слепни и мухи; что же они делали и кого мучали, пока мы не приехали? В обход озера, через полянки с летними маслятами, через ромашки – в деревню, заросшую так, что крыш с дороги не видно. Баба Валя, восьмидесятилетняя старуха, голая по пояс, в ватных штанах и резиновых сапогах, косит траву с молодой мужицкой силой. Мужчин голая баба Валя давно не стесняется, чего их стесняться: она тут всех их родила, пьянь такую. Всех и похоронила.

С ноющим скрипом едет по глубоким колеям автолавка. Она привезла липкие карамельки и китайские джинсы. Становится посреди дороги, выставляет и вывешивает товар; никто не купит, но продавцу все равно.

Баба Лиза, прикрыв глаза от солнца, всматривается: кого это бог послал? А, городские. Скоро тут будут жить одни городские.

Инвалид Егорыч – последний мужик, но, несмотря на это, никакой ценности для баб не представляющий, заходит спросить про новости большой политики. Как там Китай? Китай очень неплохо, но мы не хотим расстраивать Егорыча и – с полагающимися дипломатическими экивоками – даем понять, что дни Китая, в сущности, сочтены.



Войти в прохладную избу, все еще пахнущую сеном и молоком, хотя все коровы давно съедены; поставить на окно пол-литровую банку с колокольчиками; на полку – “Анну Каренину”, распахнуть маленькое оконце на вечернюю сторону. Остаться тут навсегда. Одичать. Стать темнотой. Или все же нет?

...Как бывало, забудешь, что дни идут,  
Как бывало, простишь, кто горд и зол.  
И смотришь – тучи вдали встают,  
И слушаешь песни далеких сел...

Заплачет сердце по чужой стороне,  
Запросится в бой – зовет и манит...  
Только скажет: “Прощай. Вернись ко мне” —  
И опять за травой колокольчик звенит...

*(Александр Блок)*

Зажечь свечу. Нарезать, разложить, налить до краев. Жизнь есть проезд из точки А в точку Б. Ну – за проезд!

## Зимняя сказка

### Аркадий Ипполитов

Рождество надо встречать где-нибудь в середине Европы. Чтобы легко сыпался мелкий снег, сквозь него мерцали фонари, под их прозрачным светом теснились узкие старые дома с островерхими крышами, а вдали маячила громада темного собора, с непременно вертепом, мягко убранным еловыми лапами, с Младенцем в яслях, Девой в синем, печальным Иосифом, паром от дыхания быка и осляти, изможденными пастухами и роскошью свиты волхвов, полной узорчатых шелков, тюбанов, негрятят, верблюдов, золота, ладана и мирры. Рождество должно быть тяжелым, зимним, уютным. Рождество надо встречать в Праге.

Теперь о Рождестве в Праге орут все рекламные ролики и видеоклипы, но в самом начале девяностых, когда я впервые в этот город отправился, подобные соображения не были еще столь избитыми. Тогда Прага манила, как “берег очарованный и очарованная даль”, то есть была вполне себе Незнакомкой, а не той разбитной пивоваренной девкой, в какую ее сейчас превратило отечественное телевидение. В Прагу я отправился благодаря тому, что выиграл грант на изучение пражского маньеризма эпохи Рудольфа II, и уезжал туда на целых три месяца – так долго за границей я еще никогда не жил.

Да и вообще еще не был избалован ни поездками в Европу, ни деньгами – грант был довольно скудный, и из Петербурга в Прагу мне пришлось отправиться на поезде. Уезжал я с Варшавского вокзала, был петербургский декабрь, темно уже в четыре, и вокзал был страшным, запущенным и пустынным, как социализм после своего крушения. Таким же был и поезд, до отказа забитый. Купе, куда я вошел, производило впечатление общего вагона: оно было переполнено, и хотя помимо меня там было всего три человека, но у каждого из соседей было столько мешков, баулов и сумок, что, забив до отказа все багажные полки, скарб влез на места своих хозяев, не оставляя им никакой возможности вытянуться. Мои соседи день и ночь сидели в обнимку со своими узлами, похожие на дремлющих, но настороженных сов. Ощущение было какого-то переселения и бегства, что-то вроде гражданской войны. Поезд тоже походил на поезда из фильмов о крушении Российской империи, ободранный и немывтый, с только что выстиранной ветошью вместо постельного белья. Жирный заспанный проводник с писклявым голосом ненавидел, казалось, и пассажиров, и вагон, и вообще все, что движется.

В этом во всем мне предстояло три дня пробултыхаться. Пейзаж, мелькающий за окном, был не радостней поезда: постоянная темень, белые сугробы и жалкие станции, скудно освещенные социалистическими фонарями. Я достал “Невыносимую легкость бытия” Милана Кундеры, пытаюсь от всего окружающего абстрагироваться. Удалось мне это с легкостью.

“Невыносимая легкость бытия” у меня была на английском, по-моему, тогда русского перевода еще не было, и это был первый роман Кундеры, который я в своей жизни читал. Роман захватил меня полностью, доставляя прямо физическое наслаждение, поэтому ни теснота, ни нечистоты нужника с холодом наружной зимы, непристойно лезущим через плохо прикрытую дырку очка прямо тебе в задницу, ни тошнотворный запах чесночной колбасы, обильно поглощаемой моими совами, меня не касались. Тем более что совы, сдавленные узлами, были также сдавлены и некоей внутренней заботой, не выпивали, не веселились и не шумели. Только мрачно таранились, уцепившись за свое барахло.

“Невыносимая легкость бытия” меня приподняла и унесла далеко от моего ободранного купе. Я оказался в Праге, в городе изощренной нервозности и доброй сказки, слившем в себе немецкое тяжеловесное мудрствование с мягкой славянской изменчивостью, вдали маячили Собор и Замок, и персонажи Кун-деры представлялись мне фигурками апостолов в часах

Пражской башни, одна за другой выходящими из окошечка, медленно проходящими перед зрителем и тут же, в окошечке напротив, исчезающими.

Особое очарование чтению придавала тонкая ненависть к русским, которой пропитаны сцены оккупации 1968 года. С таким отношением к моей нации я столкнулся впервые в жизни: вся моя жизнь происходила в двойственном разделении русского и советского, и, ненавидя все советское и коммунистическое, как герои Кундеры, я никогда не чувствовал своей за него ответственности. Вроде как я – русский – к СССР и не имею отношения, и все иностранцы, со мной общавшиеся, всегда были в восхищении от русского, а советское презирали, помогая мне чувствовать себя независимым. Кундера же танки в Праге 1968-го называл не советскими, а русскими: роман заставил меня задуматься о том, что для взгляда извне никакого особого различия между Россией и СССР может и не быть и что собственное неблагополучие не такое уж и оправдание в глазах других людей.

В конце концов, пражане не должны перед советскими танками задумываться о том, что интеллигенции в стране, их производящей, несладко живется. Я даже не то чтобы понял, но физически ощутил, что за чувства должны были испытывать чехи, поляки, венгры, а заодно и финны, эстонцы, литовцы, латыши, узбеки, туркмены, башкиры и чуваша к великой России, несущей им защиту и культуру, да и к народу нашему, который “именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз”. В ненависти Кундеры нет и следа национализма, она направлена только на танки оккупантов и марионеточное правительство, ими посаженное. Но танки-то русские и правительство – прорусское.

Меня завораживали сцены сопротивления Праги, особенно описание девушек в мини-юбках, принимающих намеренно откровенные позы, чтобы унижить изголодавшихся русских танкистов. К девушкам в вызывающих позах Кундера все время возвращается, они, сфотографированные Терезой, проходят через весь роман, и в агрессивной сексуальности героинь пражского августа ощутима агрессивная обреченность. Сопротивление сексуальностью – частый мотив, но я не припоминаю такого поворота, как у Кундеры: описанная им сексуальность направлена не на то, чтобы добиться чего-либо конкретного, голову отрубить или выведать что-то, но только на то, чтобы унижить противника его же скотством. “Вот блядь сука сраная ноги расставила, мандой трясет, я щас тебе...” – представить себя на месте танкиста мне было легко, я сам в армии служил, и изощренная месть, состоящая в том, чтобы силу, воплощенную в самце, довести до того, чтобы сила эта, представ во всей своей неприглядности, стала смешной и отвратительной, вторила образу Праги моей фантазии.

Тем временем поезд все время пересекал границы, как будто перебирая приметы всепримиренческого развала. Границ было множество: русско-белорусская, белорусско-латышская, латышско-белорусская, белорусско-украинская, украинско-словацкая... Поезд трясся, за окном ползли сугробы, совы тарасились, и на каждой границе совы и их мешки нещадно трясли, переворачивая в купе все вверх дном. Наконец поезд дотрясся до Львова, который возник передо мной как раз в тот момент, когда герой “Невыносимой легкости бытия” пишет статью о царе Эдипе, ни в чем не виноватом, но все же себя слепотой наказавшем, и рассуждает об ответственности. Во Львове поезд стоял долго, более пяти часов, поэтому я со станции поехал в город.

Львов я видел первый раз в жизни. День казался по сравнению с декабрьским петербургским сумраком светлым и длинным, сугробы пропали, было тепло и сыро, не зима, а ранняя весна. Львов был как будто создан для размышлений об ответственности: некогда центр культуры Восточной Европы, он превратился в город на краю СССР, а теперь – на краю Украины. В школе же меня учили, что моя Родина спасла Польшу и Прибалтику от гитлеровских захватчиков и возвратила России исконно русские территории. Что ж, Львов, как Выборг, спасенный от захватчиков финских и тоже возвращенный, производил впечатление города, покинутого сво-

ими автохтонными жителями и населенного совсем новой популяцией. Новым жителям все в городе чуждо: церкви, дворцы, улицы – пришельцы кое-как приспособили чужое творение, их в общем-то раздражающее, для своих нужд, но город омертвел. Было пустынно и тихо, сквозь размокшую грязь зеленела трава, и Львов, своим барокко предлагая упражнения в осознании ответственности, в то же время был прелюдией к Праге.

Когда я вошел в поезд, смеркалось. Я потрясся дальше, снова за окнами темень, совы напротив таращатся, свои кули обнимая, я продолжаю Кундерой от всего отгораживаться, и тут, уже в конце романа, вдруг в описании одного из очередных любовных приключений Томаша я натолкнулся на фразу, которая по-русски звучит так: "...он названивал одной студентке театральной школы, на редкость очаровательной девушке, чье тело так ровно загорело где-то на нудистских пляжах Югославии, что казалось, ее там медленно вращал на вертеле необычайно точный механизм". По-английски "вращал" звучит как *rotated*, и слово это, означающее не только вращаться, но и чередоваться, ярко вспыхнуло в моем мозгу, осветив то, что в нем лежало смутной грудой, то есть то, зачем я в Прагу и ехал, – пражский маньеризм. В его творениях есть притягательное и странное ощущение отстраненного и холодного вращения, исходящего от наготы мифологических персонажей, как будто рассчитанно и механистично со всех сторон демонстрирующих себя зрителю, постепенно увлекая его в одуряющее эротическое вертиго, постоянное движение, не дающее покоя, заставляющее тебя почувствовать, как из-под ног уходит твердь. Головокружение от созерцания пражских маньеристов возносит тебя на дух захватывающую высоту, в невесомость, ты превращен в нечто, легкое, как пух, но все же воспоминания о собственной тяжести не оставляют тебя, ты помнишь, что в любой момент снова можешь обрести присущий тебе вес, тогда тебя потянет вниз, и грохнешься ты с этой высоты, разбившись в лепешку, как героиня фильма Хичкока.

Слово *rotated*, вспыхнувшее в мозгу, как нельзя более точно соответствовало рудольфинской Праге. Как раз в тот момент, когда я, внутренне просветленный своим открытием, подскочил на своей полке и уселся, послав вдохновенный взор в пространство, который тут же уткнулся в совиные глаза напротив и угас, мы приехали в Чоп. На украинско-словацкой границе досмотр был самым затянутым и муторным, в купе даже отвинчивали панели на стенках и потолках, долго там шарили и ничего не находили. Наконец досмотр закончился, поезд проехал еще чуть-чуть, остановился уже на словацкой границе, здесь все прошло очень быстро, и, когда мы снова тронулись, я вдруг с удивлением обнаружил, что я в купе остался один – да и во всем вагоне, – и только тут я догадался, что мои попутчики были челночниками, то есть новой нарождающейся отечественной буржуазией, пока еще довольно мрачной и серьезной, как и вообще серьезен любой эмбрион. Вестники свободы после падения Берлинской стены.

Освободившись от кулей и кулков, поезд поехал быстрее и легче, и, возбужденный своим *rotated* и тем, что я уже за границей и с каждой минутой Прага становится все ближе и ближе, я не мог уснуть. За окнами была чернота, но сугробы пропали, только кой-где валялись лоскутья снежка; пустынный и ободраный вагон был полностью в моем распоряжении, и я бесконечно ходил курить в тамбур, не в силах ни спать, ни бодрствовать.

Возвращаясь в очередной раз из тамбура, в состоянии почти сомнамбулическом, мой сонный разум вдруг как будто на что-то налетел, споткнулся и грохнулся прямо на пол, набив со всего размаха шишку: из противоположного конца коридора на меня стремительно шло яркое красное пятно, контрастировавшее с бесцветностью моего путешествия, как дикий вопль. Кричащее пятно наступало и, приблизившись, оказалось очень красивой китайкой, одетой в пальто цвета киновари. Красавица стремительно сквозь вагон мчалась, схватив за руку и буквально таща за собой китайского юношу, и экзотичность этой пары, подчеркнутая заурядной нищетой заплеванного вагона, встряхнула меня, как звонкая пощечина. Китайка была вылитая маньчжурская принцесса Есико Кавасима из фильма Бертолуччи "Последний император" – восточный бриллиант, авантюристка и шпионка, – черты ее лица были резкие и крупные:

нос с легкой горбинкой, четко очерченные губы, большие и раскосые глаза. Эта красота была злой и хищной, той китайской красотой, какой бывают красивы именно маньчжуры, китайцы с Севера, в отличие от более округлых и сладких южан. На южанина походил ее спутник, юноша, почти мальчик, лет так семнадцати, и он был по-детски мил, маленький китайчонок – китайские дети самые хорошенькие на всем белом свете. Детскость его подчеркивало то, что Есико, будучи явно ненамного его старше, опекала его с решительностью не то чтобы даже матери, а тигрицы, схватившей зубами за шкуру своего детеныша. Красоте китаянки вторил красный цвет ее пальто – убийственно-открытый красный цвет, какой в природе редко встретишь, разве что на иконах да на картинах Рубенса. Как киноварная ртуть, китаянка была хищной и агрессивной, похожей на золотую рыбку, но не на тех вялых губастых дур, что мокнут в комнатных аквариумах, а на какую-то золотую пиранью.

Пролетев мимо, китаянка бросила на меня взгляд, безразличный и неприязненный, – таким же взглядом она одаривала двери, – ян убрался в свое купе, на ворох ветоши с “Невыносимой легкостью бытия”, подходившей уже к концу, к смерти обоих героев. Через некоторое время я опять поперся курить и с удивлением увидел, что китаянка с китайчком сидят в одном из опустевших купе, причем она что-то жарко ему говорит, в чем-то убеждая, на языке мне совершенно непонятном, наверное, китайском. Она опять смерила меня взглядом, но теперь уже не безразличным, а прямо-таки полным злой ненависти, как будто во мне была угроза, причем даже не ей, а мальчику, ею охраняемому. Меня все это возбудило донельзя, сомнамбулизм мой испарился, спать совсем уж не хотелось, но и читать я не мог, все время красное пятно перед глазами стояло. Тем временем мы приближались к словацко-чешской границе.

Поезд встал, снова появились пограничники, теперь лишь мельком взглянувшие на мой паспорт. Опять отправившись курить, я заметил, что в купе моих китайцев сидят целых три пограничника и китаянка с ними очень страстно беседует, судя по всему – на чешском, на котором говорит бегло; мальчик же молчал и языка, кажется, не понимал вовсе. Беседа явно была тревожной, и через некоторое время мимо меня прошли все вместе, и словаки, и китайцы, куда-то направляясь. Поезд все еще не двигался, в пустом вагоне я был один – проводник после Чопа вообще ни разу не появился – стоял в коридоре и смотрел в окно. Станция была какая-то совсем мизерабельная, из моего окна был виден самый угол вокзала и бетонные мелкие постройки, склады-сориры, вырванные из тьмы скудным светом вокзального фонаря. Круг синюшного света лампочки вносил в эту убогость что-то сюрреальное, настороженное, кафкианская декорация, да и только, поэтому маленькая фигурка китайчонка, вдруг в кругу света возникшая, меня совсем не удивила. Мне очень хорошо было видно, как, пробежав сквозь свет, китайчонок метнулся за бетонный сарайчик и застыл, пытаясь спрятаться. Вся эта сцена, возникшая в обрамлении окна поезда, была отыграна с блеском фильма “Третий человек”, так что у меня дух захватило, и страшно захотелось как-то помочь бедняге и даже за него пострадать, вступить в конфликт с властью: спрятать его в своем чемодане, а если я его спрятать не могу, то пусть, по крайней мере, пограничник войдет, спросит меня, не видел ли я китайца, и я, конечно, укажу ему в противоположную сторону... Поезд в этот момент тронулся, и китайчонок со своей трагедией остался позади, пропал, и никто не вошел, ни о чем меня не спросил, я никому ничем не пригодился, и никак, никоим образом больше со мной красавица в красном пальто не будет связана.

Утром я был в Праге. Прага меня встретила одним из своих аттракционов, весьма подходящим под определение “тонкой ненависти”: памятником освобождения Праги русскими войсками. Скульптурная группа состоит из солдата русского, восторженного, с автоматом и в развевающейся шинели, и солдата чешского, который, чуть задрав одну ногу в балетном порыве и тоже с автоматом за спиной и в развевающейся шинели, готов прильнуть устами к щеке (или устам) своего освободителя. Русский стоит дурак дураком, что делать – не знает, не привык

у себя на родине к такому обращению. Чех явно русского провоцирует, одной рукой обнимая освободителя за плечи, а другой, отведенной за спину, сжимая пук чугунных цветов, – типичная сцена соблазнения. Очень сильная вещь, пражане вроде бы сносить памятник не собираются, и правильно делают; не могу поверить, что чех, эту статую создавший, был столь наивен, что ничего в виду не имел, как-то уж эта группа слишком отчетливо связана с рассказом Кундеры о сексуальной агрессивности мини-юбок.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.